



## Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

### Революция и религия

Посеянное при Александре I в бескровном либерализме возшло при Николае I кровавою жатвою.

Религиозное и революционное движения русского общества, дотоле разъединенные, впервые соединились в Декабрьском бунте. Наиболее сознательные и творческие вожди декабристов — Раевский, Рылеев, кн. Одоевский, фон-Визин, барон Штейнгель, братья Муравьевы и многие другие вышли из мистического движения предшествующей эпохи. Подобно народным сектантам и раскольникам, все это люди, «настоящего града не имеющие, грядущего града взыскующие», — другого града, другого царства, потому что и «другого Бога».

Есть в этом движении и противоположное начало, нерелигиозное. Человек такого ума и такой душевной силы, как Пестель, — атеист. Но он и не русский; по крови и по духу он чистый немец. Религиозное отрицание Пестеля умозрительное, отвлеченное; когда же он переходит к революционному действию, то считает нужным прибегнуть к помощи той религиозной стихии, с которою слишком неразрывно связано и само движение революционное. Неверующий Пестель соглашался с Рылеевым, который однажды заметил по поводу так называемого «Православного Катехизиса» братьев Муравьевых<sup>1</sup>: «Такими сочинениями удобнее всего действовать на умы народа». И уж конечно, не без ведома и одобрения Пестеля этот «Катехизис», во всяком случае не менее «подлинный», чем Катехизис Филарета<sup>2</sup>, послужил орудием пропаганды при возмущении Черниговского полка.

«В о п р о с. Не сам ли Бог учредил самодержавие?»

О т в е т. Бог в области своей никогда не учреждал зла. Злая власть не может быть от Бога.

В о п р о с. Какое правление сходно с законом Божиим?

О т в е т. Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными.

В о п р о с. Стало быть, Бог не любит царей?

О т в е т. Нет. Они прокляты суть от Бога, яко притеснители народа, а Бог есть Человеколюбец. Да прочтет каждый, желающий знать суд Божий о царях, книгу Царств, главу восьмую: *Возопиете в то время из-за царя вашего, которого выбрали вы себе, но не услышит вас Господь.* — Итак, избрание царей противно воле Божией.

В о п р о с. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?

О т в е т. Раскаяться в долгом раболепстве и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос».

Прочтя это место, император Николай I написал на полях: «Quelle infamie! — Какая гнусность!»

Следовало совершиться всему, о чем декабристы не смели мечтать и что теперь на наших глазах совершается, — следовало разразиться русской революцией, для того чтобы мы наконец поняли религиозное значение того, что высказано в этих забытых и никакого реального действия не имевших листках «Православного Катехизиса»; чтобы мы догадались, что здесь поставлен религиозный вопрос о власти так, как он никогда в истории христианства не ставился. Здесь впервые Благовестие, Евангелие *Царствия Божия* понято и принято не как мертвая, идеальная и бесплотная отвлеченность, а как живая, действительная реальность, как основание нового религиозно-общественного порядка, абсолютно противоположного всякому порядку государственному. На обетование Христа Пришедшего: *Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе*, и Христа Грядущего: *Будете царствовать на земле* — первый и единственный ответ на всем протяжении исторического христианства — этот младенческий, но уже пророческий лепет русской религиозной революции: *Да будет всем един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос.* — «Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам».

Историческим христианством принято Царство Божье только на небе, а царство на земле отдано «Князю мира сего» в лице папы-кесаря на Западе или кесаря-папы на Востоке. Но ежели Христос не идеально и бесплотен, а реально и воплощенно есть *Царь на земле, как на небе*; ежели истинно слово Его:

*Се, Я с вами, до скончания века. Аминь*, — то не может быть иного Царя, иного Первосвященника, кроме Христа, сущего до скончания века с нами и в нас, в нашей плоти и крови, через Таинство Плоти и Крови. Вот почему всякая подмена сущей Плоти Христовой, сущего Лица Христова человеческой плотью и ликом или только личиною, маскою — папою или кесарем есть абсолютная ложь, абсолютное антихристианство. Кто может стать «на место» — *вместо* Христа, как не Антихрист? В этом смысле всякий «наместник» Христа — самозванец Христа, Антихрист.

Так религиозным сознанием русской революции объясняется бессознательный, вещей ужас русского раскола: царь — Антихрист. Хотя, разумеется, восточному кесарю так же далеко до подлинного Антихриста, как западному первосвященнику; это лишь два исторических символа, два пути к тому, что за историей, — к последнему воплощению Зверя.

В «Православном Катехизисе» декабристов критикуется глубочайшее мистическое основание не только самодержавия, но и какой бы то ни было государственной власти. *Да всем будет один Царь на земле и на небе — Христос* — это чаяние русских искателей Града Грядущего неосуществимо ни конституционною монархией, ни буржуазною республикою социал-демократическою, о которой мечтают нынешние революционеры; оно осуществимо только абсолютною безгосударственностью, безвластием как утверждением Боговластия.

Так в первой точке русской политической революции дан последний предел революции религиозной, может быть не только русской, но и всемирной.

Приходило ли, однако, в голову составителям «Православного Катехизиса», что он столь же не православный, как и не самодержавный? Русские святители не могли бы, конечно, не согласиться с мнением русского царя. «*Quelle infamie!* — Какая гнусность!» И согласились действительно.

После усмирения Декабрьского бунта Св. Синоду поручено было составить благодарственный молебен «на испровержение крамолы». Молебен составили и служили торжественно перед народом в Петербурге, на Исаакиевской площади, в Москве и других городах России. В последней ектенье возглашалось: «Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедания и благодарения нас, недостойных рабов Своих, яко от неистовствующие крамолы, злоумышлявшие на испровержение веры православныя и престола и на разорение Царства Российского, явил есть нам заступление и спасение Свое».

Так Царство Божье русский царь объявил «гну́сностью», а русская церковь — «крамо́лоу».

## 4

Если кто-нибудь из современников мог понять и перевести на язык взрослых, «премудрых и разумных», младенческий лепет декабристов, то это, конечно, Петр Чаадаев, один из глубочайших русских мыслителей, основатель нашей философии истории.

Будучи в самой тесной умственной и личной связи с декабристами, он, вероятно, принял бы участие в их революционном действии, если бы не одна, и может быть главная, особенность всей его духовной природы — перевес внутреннего созерцания над внешним действием, ума над волею. Как это почти всегда бывает с людьми чистого мышления, у Чаадаева — абсолютная неподвижность извне при величайшем движении внутри. Это — прирожденный монах, великий молчальник и затворник мысли. Не сочувствуя или, по крайней мере, никогда не выражая сочувствия тому, что декабристы сделали, Чаадаев не мог не сочувствовать тому, что они хотели сделать. Он сам хотел даже большего. С той суровою непреклонностью диалектики, которой всегда был верен, он, дойдя до конца своего религиозного сознания, вышел из православия, из восточного византийского христианства, и вошел во вселенское. Если бы он прочел «Православный Катехизис» братьев Муравьевых, то, конечно, понял бы, что Катехизис этот столь же не православен, как не самодержавен. Именно он, Чаадаев, первый понял, что самодержавие, вера в русское царство, и православие, вера в русского Бога, — два исторических явления одной и той же метафизической сущности, так что отрицающий одно из них не может не отрицать и другое. Он первым из образованных русских людей не только усомнился в простодушной народной истине: «На что лучше русского Бога?» — не только искал, но и нашел «другого Бога», другое царство.

*Да придет Царствие Твое — Adveniat Regnum Tuum,* — в этих четырех словах молитвы Господней — вся философия и вся религия Чаадаева. Он повторял их неустанно, кончал ими все свои литературные произведения и частные письма, все свои дела и мысли, так что наконец слова эти сделались как бы самым дыханием жизни его, биением сердца. В сущности, он и

не сказал ничего, кроме этих четырех слов, — но сказал их так, как никто никогда не говорил.

Осуществление Царства Божьего не только на небе, но и на земле, в земной жизни человечества, в религиозной общности, в Церкви как Царстве, — таково, по мнению Чаадаева, «последнее предназначение христианства». Но для того чтобы исполнить его, Церковь должна быть свободна от власти мирской. Эту свободу сохранила будто бы церковь западная, римско-католическая, тогда как восточная, византийская, утратила ее, подчинившись мирским властям и объявив главу государства, языческого самодержца, главою Церкви, первосвященником. Вот почему свободная церковь западная могла раскрыть заключенную в христианстве идею не только личного, но и *общественного спасения*, начало объединяющее, синтетическое; из этого начала, которое выразилось в идее папства как всемирного единства, возникло и всемирное единство всего западного просвещения, объединившего европейские народы. Порабощенная государству, церковь восточная могла раскрыть идею спасения *только личного*, безобщественного, начало уединяющее, монашеское. Вот почему действенная сила христианства осталась здесь втуне. Россия, приняв христианство от Византии, пошла по тому же пути христианства монашеского, исключительно личного и внутреннего, безобщественного, вышла из семьи западноевропейских народов, из всемирного единства, христианского просвещения и обособилась, замкнулась во тьме первобытного, младенческого и в то же время старческого варварства. «Недостаток нашего религиозного учения (т. е. православия), — говорит Чаадаев, — отстранил нас от всемирного движения, в котором развилась и выразилась общественная идея христианства, и отбросил в число тех народностей, которым лишь посредственно и очень поздно суждено испытать на себе совершенное действие христианства». — «Мы будем истинно свободны, — заключает он, — с того дня, когда из наших уст, помимо нашей воли, вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир». Главная из этих ошибок для Чаадаева — православие.

Издатель посмертных сочинений Чаадаева на французском языке — по-русски он почти не писал, — иезуит кн. Гагарин, считает нужным заявить, что Чаадаев так и не отрекся от «греческой схизмы» и в католичество не перешел. Тут, в самом деле, единственная точка, где он изменяет своей непреклонной диалектике. Если бы он был верен ей до конца, то должен бы

сделать неизбежный вывод: нет иного спасения, как для него самого, так и для всей России, кроме отречения от православия и перехода в католичество. Но трезвость и точность уже не логической, а исторической мысли предохраняли его от этого вывода. Ежели он и не сознал с окончательной ясностью, то все же смутно чувствовал, что действенная сила христианства так же иссякла на Западе, в римском папстве, как и на Востоке, в русском царстве, что обе эти попытки теократии *одинаково* не удалась, что идея папства как всемирного единства обращена к прошлому, а не к будущему, и что Рим христианский, так же как и языческий, — великий мертвец, который никогда не воскреснет. Заветное желание Чаадаева — освободить Россию от двойного чужеземного ига, от двойного рабства Западу и Востоку. Он верит в особое, отличное от Европы и Византии, всемирное предназначение России. Он видит, или почти уже видит, ее спасение не в православии и не в католичестве, а в новом, еще миру неизвестном раскрытии тех начал религиозной общности, Церкви как Царства Божьего на земле, которые заключены в Благовестии Христовом. Он почти сознает, что Россия должна не бежать от Европы и не подражать Европе, а принять ее в себя и преодолеть до конца. В этом смысле Чаадаев, так же как впоследствии Герцен, будучи крайним западником, в то же время крайний и обратный — революционный славянофил.

Во всяком случае, выйдя из православия, Чаадаев не вошел в католичество, по крайней мере не вошел в него сознательно, а разве только попал нечаянно: из русского царства — в римское папство — это, по русской пословице, из кулька да в рогожку, из огня да в полымя.

А последняя истина о Чаадаеве та, что он так же не мог перейти в католичество, как и остаться в православии, что он вышел из обеих церквей — из всех вообще пределов исторического христианства. Но сам себе не смел еще признаться в этом, потому что не видел, что есть нечто за этими пределами. Для того чтобы не остаться в последнем сиротстве, совсем без церкви, без матери, он протягивает руки к чужой матери, или мачехе, которая, он знает, не примет его, которую он и сам не примет.

Беспредельный исторический нигилизм, беспредельное освобождение, страшно пустынный простор воли и мысли — такова основа религиозной революции у Чаадаева, так же как впоследствии — революции политической у Герцена. Искать последней отваги в последнем отчаянии, все старое кончить, что-

бы начать все сызнова, как будто никого на свете нет и не было, кроме нас, да и нас, пожалуй, нет, но мы будем, будем, — таков наш вечный русский соблазн, происходящий от избытка или от недостатка силы, это нам самим трудно решить, это пусть Европа решит за нас. Во всяком случае, Чаадаев, писавший и, кажется, думавший по-французски, молившийся по-латински, в этом смысле очень, и может быть даже слишком, русский человек.

Первое «письмо о философии истории» было переведено с французского и напечатано в московском журнале «Телескоп» в 1836 году, десять лет спустя после казни декабристов. Среди тогдашнего раболепного молчания оно произвело действие камня, брошенного в стоячую воду: все всколыхнулось. Император Николай пришел от этого письма почти в такое же негодование, как от «Православного Катехизиса» декабристов. Журнал был закрыт, редактор сослан, цензор смещен, Чаадаев, по высочайшему повелению, объявлен сумасшедшим, и ему приказано не выходить из комнаты; в определенные дни посещал его врач, чтобы доносить по начальству о состоянии его умственных способностей. Философ Шеллинг находил Чаадаева самым умным человеком в России, а император Николай нашел его сумасшедшим. И это понятно: русскому царю Царство Божие кажется «гнусностью», а мудрость Божия — безумием. За революционное действие он казнит лишением жизни, а за мысли — лишением разума.

Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», в которой, со свойственной ему оскорбительной вежливостью извиняясь перед русским самодержавием и стараясь оградить себя от подозрения в революционных замыслах, осуждал друзей своих, декабристов. Но так же, как некогда Екатерина — Новикову, Николай не поверил Чаадаеву. И если не эмпирически, то метафизически был, конечно, прав; явная покорность Чаадаева слишком похожа на тайное презрение: с волками жить — по-волчьи выть. Весьма, впрочем, возможно, что он искренне осуждал революционную попытку декабристов, потому что она казалась ему преждевременною, — а невременную, вечную правоту их он понять не мог по свойствам своей слишком, повторяю, созерцательной природы. Они умерли детьми; он родился стариком.

Чаадаев больше ничего не печатал в России — едва заговорив, онемел навсегда. Грибоедов в «Горе от ума» списал с Чаадаева Чацкого.

Так погиб один из величайших умов России, не сделав почти ничего, ибо то, что он сделал, ничтожно по сравнению с тем, что он мог бы сделать. Но все-таки Россия не забудет его: доселе глядит на нас, как живое, как лицо самого близкого друга и брата, это мертвенно-бледное, спокойное лицо с кроткою, горькою усмешкою на тонких, в вечном безмолвии сжатых губах. Светлую тенью прошел он в самой черной тьме нашей ночи, этот безумный мудрец, этот немой пророк, «бедный рыцарь» русской революции.

Все безмолвный, все печальный,  
Как безумец, умер он.

И, умирая, конечно, повторял свою непрестанную молитву:  
*Adveniat Regnum Tuum.*

## 5

Под первым и последним сочинением своим, напечатанным в России, Чаадаев подписал: *Necropolis, Город Мертвых*. Не только Москва, Третий Рим, где он писал, но и вся православно-самодержавная Россия, все русское государство были для него *Городом Мертвых*.

«Мертвые души» — назвал Гоголь свое величайшее произведение. Мертвые Души обитают в Мертвом Городе. Ужас крепостного права, ужас мертвых душ есть, по выражению Чаадаева, «неизбежное логическое следствие всей нашей истории» — истории русского царства и русской церкви. Отрицание следствия не может не быть и отрицанием причины. Начало великой русской литературы, пророчества о великой русской революции — смех Гоголя и есть предсказанный Чаадаевым «крик раскаяния, исторгшийся из наших недр и отзвуком своим наполнивший» если еще не весь «мир», то уже всю Россию.

Во всемирной литературе нет ничего, подобного этому смеху: он похож на предсмертную судорогу — на страшный смех смерти. Как в исполинском зеркале, отразилась в нем вся Россия, но вместо человеческих лиц уставились на нас из этого зеркала какие-то «дряхлые страшилища» и ужаснула мертвая душа России — душа народа-младенца в разлагающемся трупе Византии.

Смех Гоголя — разрушающий, революционный и в то же время творящий, религиозный: отрицание мертвого града человеческого есть утверждение живого града Божьего. Но в от-



рицании и в утверждении новая религиозная стихия Гоголя слишком бессознательна, а религиозное сознание слишком старо. Он видел то, что надо проклясть; но того, что надо благословить, не видел или недостаточно видел.

Когда сила проклятия не соответствует силе благословения, то тяжесть проклятия падает на самого проклинающего. Это и случилось с Гоголем. Такие черные тени легли перед ним потому, что за ним был такой ослепительный свет; но свет был *за ним*, и он его не видел. И самую черную, страшную тень — свою собственную — принял за своего двойника, за «черта». И ему стало казаться, что вся эта тьма, весь этот ужас идет от него, из него самого, и что он, смеющийся, — сам смешон, он, проклинающий, — сам проклят, что в нем самом — «черт». И Гоголь испугался.

Мудрый Чаадаев мог ждать, повторяя с безнадежною покорностью: *Adveniat Regnum Tuum*. Гоголь ждать не мог: ему нужно было бежать от своего черта. Нового религиозного сознания, новой церкви не было, и, чтобы не остаться, подобно Чаадаеву, в страшной пустоте, в последнем сиротстве, он захотел вернуться в церковь старую. Но живая душа его не могла войти в мертвую церковь, часть мертвого царства. Тогда Гоголь, чтобы войти в нее, умертвил, уморил себя, как раскольники — «заповцеванцы» XVII века, отрекся от литературы, сжег свои сочинения, проклял все, что благословлял, благословил все, что проклинал, — вплоть до крепостного права, — принял с православием и самодержавие, с мертвую церковью — и мертвое царство.

Самодержавие погубило в Чаадаеве великого русского мыслителя; православие в Гоголе — великого русского художника. Судьба Гоголя — доказательство от противного, что в России новая религиозная стихия, не соединенная со стихией революционною, неизбежно приводит к старой Церкви, которая не только мертвеет сама, но и все живое умерщвляет.

Чаадаева, вышедшего из православия и самодержавия, император Николай объявил сумасшедшим, а Гоголя, вернувшегося в православие и самодержавие, объявили сумасшедшим революционеры. <...>

Безмолвное недоумение шлиссельбургского узника Новикова, младенческий лепет декабристов-мистиков, тихая молитва

сумасшедшего Чаадаева, громкий смех Гоголя, неистовый вопль бесноватого или пророка, Достоевского, подземный ропот слепого титана, Л. Толстого, глас вопиющего в пустыне, Вл. Соловьева, — все они твердят одно и то же: *Да приидет Царствие Твое*. У всех бессознательная стихия религиозная соединяется со стихией революционной. Но религиозное сознание и революционное действие соединились только на один миг, в одной точке обоих движений, в декабристах, и тотчас опять разошлись. Русская революция совершается помимо или против русского религиозного сознания: и это сознание развивается помимо или против русской революции. Революция без религии или религия без революции; свобода без Бога или Бог без свободы.

Нам предстоит соединить нашего Бога с нашей свободой, нам предстоит раскрыть единую мысль в обоих движениях; это — мысль о Церкви как Царствии Божиим на земле: *Да приидет Царствие Твое*.

